

МАРИЯ
ФАШСЕ
—
ПРАВДА
ПО ВИРГИНИИ



Мария Фаше

Правда по Виргинии

2004

Фашсе М.

Правда по Виргинии / М. Фашсе — 2004

Неожиданный приезд друга юности вносит смятение в благополучную жизнь 30-летней журналистки Виргинии. Любовь к мужу, супружеская верность, сами основы ее семейного счастья ставятся под сомнение. Она не может избавиться от неясной тревоги... и постоянно что-то недоговаривает. Решится ли Виргиния разрушить то, что до сих пор казалось незыблемым? И что на самом деле скрывает Виргиния? Эмоциональное, искреннее, захватывающее повествование раскрывает сложный внутренний мир современной молодой женщины, которая отважилась рассказать свою правду.

Содержание

I	5
1	5
2	7
3	11
4	13
5	15
6	17
7	19
8	20
9	22
10	24
11	27
Конец ознакомительного фрагмента.	33

Мария Фашсе

Правда по Виргинии

Посвящается моей матери

Самое ужасное то, что, не зная что такоe правда, мы отлично знаем что такое ложь.
Чезаре Павезе

I

1

– Слышишь?

Августин остановился на углу Ботанического сада и поудобнее приладил рюкзак. На самом деле это был просто предлог избавиться от моей руки, которую я положила ему на плечо после того, как мы перешли улицу.

– Львы. Слышишь?

– Нет… не слышу. Ты же знаешь, я немного глуховата. – Мой сын это выдумал – рев львов никак не мог доноситься до Ботанического сада.

Наши ботинки увязали в красноватой грязи дороги, и солнце, проглядывая через ветки и листья, усиливало запах дыма. Справа от нас два старика раскладывали шахматную доску на каменном столе.

– Ты поведешь своего друга в зоопарк?

– Может быть, – ответила я, – я еще об этом не думала.

Я снова приобняла его, но он тут же наклонился и принял гладить белого кота, который лизал туфли женщины, одетой в черное. Это были старые туфли танцовщицы фламенко, которые на других ногах, в сочетании с другой одеждой, могли бы показаться современными. Я бы такие надела.

– А он будет спать в моей кровати?

– Если ты разрешишь.

– А он и папин друг тоже? – спросил Августин, рассматривая каменные плиты.

– Нет, но здесь они, возможно, станут друзьями.

– Он еще будет здесь, когда я вернусь?

– Не думаю.

Яркий утренний свет и кислый запах кошачьей мочи заставляли нас щуриться. Мы перешли улицу, и Августин, сняв рюкзак, взъерошил волосы перед витриной булочной.

– Смотри, микроавтобус уже стоит, – сказал он, когда мы завернули за угол.

В конце квартала уже толпились дети, родители и учителя. Какая-то коротко стриженная девочка в зеленых бриджах помахала моему сыну и смешалась с толпой, где я уже не могла ее различить.

– Лучше давай попрощаемся здесь, – сказал Августин.

– Хорошо.

Мне тоже не нравились эти прощания. Мы спрятались на каком-то крыльце, чтобы я смогла обнять сына, но чтобы этого никто не увидел. Я прижала его к груди и почувствовала, как он носом вдыхает аромат моих волос, а руки застыли на моих щеках.

– Поцелуй меня, – попросила я его.

Он поцеловал меня куда-то между носом и глазами. Я еще раз обняла его, дотянувшись руками до карманов рюкзака, затем посмотрела ему вслед: он шел, потирая щеку, словно хотел стереть след поцелуя, хотя у меня не были накрашены губы.

Коротко стриженная девочка в зеленых бриджах снова отделилась от толпы. Августин снял рюкзак, чтобы поздороваться с ней. Они обменялись парой слов и направились к группе ребят. Перед входом в автобус у детей, одного за другим, проверяли багаж, будто они были на таможне. Родители приникли к окнам, раздавая последние наставления и посылая воздушные поцелуи. В этот момент они напоминали фанатов какой-нибудь рок-группы.

Августин высунул голову из последнего окошка и поиском меня глазами на крыльце. Я водила рукой из стороны в сторону, как «дворники» на машине очищают стекло, пока не потеряла микроавтобус из виду в потоке транспорта.

2

Феминистский манифест. Химический анализ женщины. Еще один анекдот о бен Ладене. Список подписей для ООН. Предупреждение об электронном вирусе. Я удалила все эти письма. Даже не открывая. Затем нашла Сантьяго Айкала среди отправителей.

«Виргиния, приезжаю во вторник четвертого, в двенадцать. Инч-Ала. Целую». Сколько раз я уже это перечитывала? Подписьаться сейчас именем Инч-Ала являлось по сути подстрекательством; после многочисленных терактов мусульмане были объявлены врагами народа, но Сантьяго не был подстрекателем, просто он был немного циничным. На следующий день после падения «башен-близнецов» он написал: «Вот она, возможность переехать в Нью-Йорк, сейчас это, должно быть, очень дешево». На самом деле, привлекало внимание это «целую», учитывая то, что раньше он писал: «обнимаю» и «до скорого».

Я всегда писала на прощание «целую» и много раз ему объясняла, что здесь мы всегда так прощаемся. Сантьяго никогда не хотел это принимать. Но это все было в первых письмах, девять лет назад. Я рассказывала ему об Аргентине, как добросовестный сотрудник туристического агентства, опасаясь, что самого факта моего проживания здесь недостаточно, чтобы он прилетел сюда из Боготы. Я говорила о танго, о Палермо, о Сан-Тельмо, о реке, о местах, где он никогда не бывал. Я никогда не посыпала ему открыток. Мне хотелось, чтобы он представлял себе Буэнос-Айрес таким, каким его описываю я, или таким, каким ему самому хочется его видеть; фотографии могли ему не понравиться.

В то время еще не было электронной почты. Я по несколько раз перечитывала вслух свои письма, чтобы убедиться, что они в точности передают все мое душевное волнение. Я всегда писала их небрежным почерком занятой женщины, выкроившей пару минут свободного времени, чтобы накатать несколько строк. Я отмечала в календаре даты отправки писем, чтобы между ними проходило не меньше двух недель. «Привет, красавица!» – отвечал Сантьяго на бумаге небесно-голубого цвета, по размеру гораздо меньшей, чем та, на которой обычно пишут письма, – на листе, вырванном из блокнота. «Я сейчас заканчиваю работу над новым сценарием. Напишу тебе позже, потому что сейчас у меня мало времени». Я подолгу смотрела на этот листок, пока слова не начинали сливатся. Затем я просматривала его на свет, чтобы убедиться, что там нет другого письма, и перечитывала его наоборот, потому что слышала, что если диск проиграть наоборот, то можно услышать сатанистские послания. «Сейчас у меня мало времени». Вертикальные палочки букв впивались мне в мозг, как булавки. Сантьяго не мог бы выразиться более спокойно и непринужденно. Дело в том, что он и был спокойным и непринужденным. Просто у него не было никакой необходимости увидеться со мной.

Эти нежно-голубые бумажки хранили в себе голос Сантьяго. Стоило всего лишь развернуть их, чтобы услышать его. Сейчас, с появлением электронной почты, все стало более хрупким, более нереальным. Даже я сама могла написать себе это письмо. Но его написал он. И он приезжает в Буэнос-Айрес.

Я выключила компьютер и уставилась в открытый шкаф. Любой бы сказал, что у меня полно одежды. Диего все время повторял это. Но мне всегда было сложно что-нибудь подобрать. Все равно что искать маскарадный костюм в магазине маскарадных костюмов: всегда вкрадывается сомнение, что не хватает чего-то такого, что подошло бы в данной ситуации. Как бы мне одеться на встречу с Сантьяго?

Я открыла записную книжку и записала: «Аэропорт». Я сняла с себя джинсы и рубашку Диего, которую я надевала, чтобы проводить Августина в школу, и примерила белую футболку и бежевые шорты. Мне было необходимо купить пару кожаных башмачков – тех, которые спереди похожи на туфли, но без пятки. Немного макияжа – и такой вид, словно я поставила обед готовиться и пошла посмотреть, все ли в порядке. Я была похожа на голливудскую актрису в

домашней обстановке. Джуди Фостер или Джулиана Мур, застигнутая папарацци на выходе из супермаркета.

Как на меня посмотрит Сантьяго после того, как я родила Августина? Я рассмотрела свою грудь, потрогала ее. Она стала больше и обвисла. Но дело не только в этом, было еще кое-что. Что-то в глазах и с кожей. Я видела, что это происходит с другими женщинами после родов; они не остаются такими, какими были раньше, они перевоплощаются в другой тип женщин – становятся материами.

«Неофициальная одежда: бриджи цвета хаки, черный топик и кожаные сандалии». Затем я стерла «кожаные сандалии» и написала «туфли без задников». Решено, я обязательно должна купить эти туфли, от них зависит весь мой наряд. Кроме того, это было именно то, что нужно, чтобы спрятать мои ноги. Мои ноги. Я нашла в своей записной книжке *понедельник 3 декабря* и записала: «Педикюр».

Далее я добавила «вечер дома», «вечер вне дома», «вечер вне дома-2», оставила немного свободного места, чтобы дополнить эти фразы, и пошла на кухню приготовить себе кофе. У дверей в комнату Августина я остановилась.

Он только что уехал, а я уже по нему скучала. В то же время меня радовало, что его отъезд в лагерь совпал с приездом Сантьяго. Как будто это было запланировано заранее: Сантьяго может жить в моем доме, и при этом я не буду чувствовать на себе укоряющего взгляда сына. Я полагала, что в этой ситуации мне будет проще с мужем, чем с сыном. Но что должно быть проще?

Я изучала комнату как тогда, когда мы с Диего собирались купить эту квартиру. Стены покрашены в желтый – желтый, который приобрел зеленоватый оттенок, отличный от того, который мы брали за образец в лавке художника. Плакаты с футболистами, флагок команды «Ривер», кровать, которая, скорее всего, будет маленькой для Сантьяго, покрывало, привезенное нами из Мексики, слишком яркое для декабря. Удобно ли здесь будет Сантьяго?

Я бы могла принести сюда несколько своих книг, только надо убрать футбольные трофеи и коллекцию игрушек «Робин Гуд». Понравятся ли ему «Сандокан», «Айвенго» или «Последний из могикан»? Я никогда не читала эти книги. Я купила их для сына, чтобы он рассказал мне, про что они, но Августин только рассматривал картинки. Зато он прочитал все истории из «Крошки Лулу» и «Болтушки», эти книги лежали на первой полке. Я подарила их ему как доказательство того, что я тоже когда-то была ребенком, хотя иногда мне и самой с трудом в это верилось. В душе я надеялась, что он мне скажет, что я похожа на Крошку Лулу, как мне всегда говорил это отец, когда я была маленькой. Но Августин не заметил этого сходства, может, я и вправду уже на нее не похожа. Заметит ли это сходство Сантьяго, если прочитает книгу? Может, он уже читал ее? «Крошка Лулу» – это сборник мексиканских сказок, должно быть, она распространена во всей Латинской Америке.

Я легла на кровать и уткнулась лицом в подушку. От яркой расцветки покрывала рябило в глазах. Я вдохнула еле ощущимый запах солнца, земли и кондиционера для белья – это был запах моего сына. Лежа в кровати Августина, я не могла думать о Сантьяго, по крайней мере пока Сантьяго не будет спать в ней.

Я откинула покрывало и обнаружила маленький комочек. Это была одна из кукольных фигурок, которые кладут в упаковки с конфетами «Сугус»; они сделаны из липкой резины, поэтому ко всему прилипают. Августин обычно засыпал с одной фигуркой, прилепленной под носом, другой – в руке и третьей – зажатой между пальцами ног. Он вцеплялся в этих куколок так, словно снова стал младенцем, которому нужна соска. Та что завалялась между простыней и одеялом, была фигуркой синего динозавра, которому не хватало головы и кончика хвоста. Я аккуратно поставила ее на ночной столик рядом с фигурками из сериала «Всемирный», разрисованным блокнотом и обертками от нуги и шоколадок. В одной из оберток еще оставались две дольки шоколадки, и я их съела.

Диего понравилось, что Сантьяго остановится у нас и будет жить в комнате Августина. В тот день, когда я собиралась спросить его об этом, я вдруг поняла, что совершенно не знаю, что он ответит на это и что я буду делать, если он откажет.

– Как фамилия Сантьяго?

– Айала.

В тот момент мы обедали. Я неподвижно сидела за столом, не притрагиваясь ни к бокалу, ни к приборам, потому что боялась, что у меня все вывалится из рук. Диего подлил мне еще вина.

– Говоришь, он колумбиец?

– Да.

– Ты никогда мне о нем не рассказывала… Чем он занимается?

– Кино. Поэтому он и приезжает. Его пригласили на какой-то небольшой фестиваль в Рио, и он по пути заедет в Буэнос-Айрес. Он здесь никогда не был…

Диего больше ничего не спрашивал. Я подумала, что профессия Сантьяго дает ему определенную характеристику. Но как тогда характеризует Диего его профессия историка? В чем это выражается? Единственным проявлением были книги по истории в нашей библиотеке и возможность уточнить у него какую-нибудь дату, исторический факт, места сражений или детали и ход военных событий. Он был добрым и общительным, не знаю, присущи ли эти качества всем историкам, но это мне особенно нравилось в моем муже. Он умел вести разговор, интересовался другими людьми. Меня же, напротив, люди обычно сердили, раздражали или утомляли; в основном я говорила из страха, что все заметят, что я молчу. Я вела разговор, как рыбак-новичок аккуратно натягивает леску на удочке. Любопытно, но все находили меня милой и обаятельной. И Сантьяго тоже. Но он был не как все остальные, с ним никогда не было проблем в общении.

Ответ на электронное письмо Сантьяго наглядно демонстрировал мою общительность; это был единственный ответ, который я не перечитала перед тем, как отправить, – такую возможность предоставляет электронная почта. «Если хочешь, можешь остановиться у меня дома. Мой сын уезжает в лагерь, и его комната свободна», – написала я. Нажала «Отправить», и было слишком поздно что-то менять.

Я подогрела кофе в микроволновке, принесла чашку в гостиную и, устроившись поудобнее на диване, стала наблюдать за рыбками. Идея завести рыбок, как, впрочем, и почти все в этом доме, принадлежала Диего. Под кондиционером располагался огромный аквариум, по краям отделанный зеленым мрамором. Дно было покрыто разноцветными камушками и разными видами искусственных водорослей – а может быть, они были настоящими, – которые плавно покачивались, когда мимо проплывали рыбы. Еще там была прозрачная трубочка, по которой пузырьки воздуха поднимались на поверхность, застывали там на мгновение и затем исчезали.

Рыбки плавали по прямой линии, их хвосты виляли из стороны в сторону, как длинные волосы у женщин развеваются на бегу. Августин никогда не просил братика или сестренку, только новую рыбку. У нас их было уже пять: одна белая с синими полосками, три оранжевые с черными плавниками и та, которая больше всех нравилась Августину, похожая на жабу или даже больше на динозавра, – зеленая и вялая, с раздувшимися веками.

Я сняла шорты и футболку и примерила черное платье без бретелек. Молния застегивалась с трудом. Я нашла туфли для танго; сразу отбросила в сторону чулки в сеточку и на резинке и выбрала темно-серые: матовые и тонкие. Затем я собрала волосы, пошла в ванную, подвела губы и нанесла помаду. Только помаду. Если я крашу губы, то не подвожу глаза. Это один из моих секретов макияжа. Темная помада делала меня старше, если глаза не были накрашены. Но, используя светло-розовую помаду или просто бесцветный блеск, я могла позволить себе нанести темно-серые или пастельных тонов тени. Последние идеально сочетались с белой

одеждой – мода восьмидесятых годов; ярко подведенные черным глаза в сочетании с черным или же красным цветами выглядели слишком драматично.

Сантьяго не умел танцевать танго, это было единственное, что он не умел танцевать (может быть, это было единственное, что он не умел делать), но я собиралась отвести его на праздник милонги. Я закрывала глаза и пыталась представить себе сцену в мельчайших подробностях: как я кружу по площадке с неизвестным партнером, с кем-то, кто очень умело ведет меня, и не обращаю внимания на второй столик справа, где Диего и Сантьяго наблюдают за моим танцем.

3

Какая-то ночь. Какая-то комната в каком-то городе. Его рука еще лежит на ее теле, как забытая перчатка на стуле. Мыслями он уже где-то далеко, голова утопает в подушке, он засыпает. Она спрашивает:

– Ты мне когда-нибудь изменял? Он открывает глаза:

– Нет.

– Скажи мне правду, я смогу простить тебя, но я хочу знать правду.

Может быть, она и не спрашивает, а просто говорит:

– Я должна тебе кое-что рассказать... И это начало конца.

В какие-то моменты нашей жизни нам необходима ложь. Однако для женщин гораздо большей и важной необходимостью является рано или поздно сказать правду. На этой «женской необходимости» основывается успех психоанализа, а до возникновения психоанализа – успех католической веры: и священники, и психоаналитики обязаны выслушивать наши откровения. Нам, женщинам, необходимо рассказать правду, какой бы она ни была: пусть она никому не нужна, пусть последствия будут непредсказуемыми и ужасными, пусть нас за нее никогда не простят и мы не будем счастливы.

– Это не так, Виргиния, – еле заметно мотал головой Томас, читая статью. На его лице застыла снисходительная улыбка, словно он хотел сказать: «Эта девушка всегда так высоко-парно выражается». Но нет, Томас никогда не говорил этого.

Сигаретный дым немного смягчал его усмешку. Но он меня нанял, чтобы я писала именно такие вещи для журнала «Майо», журнала о культуре и популярных увлечениях с названием книжного магазина, который Томас использовал, чтобы распространять различные предложения и новости о музыке и литературе, и который люди листали за столиками в кафе, пока ждали свой заказ. Заметки и статьи напоминали песни, в них не могло говориться: «Я не знаю, что такое правда. Я не уверена, что мужчины и женщины ведут себя по-разному».

Томас погасил сигарету, продолжая улыбаться:

– Мужчины и женщины... Будто бы не нашлось других тем.

Но других тем действительно не нашлось. Я скрестила ноги и ударила коленкой о край стола.

– Что не так?

– Допустим, что мы на самом деле по-разному относимся к правде, но не так. Все сложнее. Все гораздо сложнее.

«Все гораздо сложнее». Это было мнение Томаса, выражавшееся в одной фразе. Для меня же, наоборот, все было гораздо проще. По крайней мере некоторые вещи. Все сложное было простым.

Было около трех часов дня. Меня бы не удивило, если бы было пять часов, но я не следила за временем. Мы заняли столик напротив стены под портретом Либертад Ламарк. Я сидела спиной к окну и могла видеть весь книжный магазин. Продавцы раскладывали на столах для распродажи книги об искусстве. Было жарко. Здесь, наверное, не работал кондиционер, или его специально не включали в это время в целях экономии, потому что народу почти не было.

– На прошлой неделе я получил письмо без имени отправителя, которое начиналось так: «Тебе лучше не читать это письмо», – сказал Томас, зажигая еще одну сигарету. Мошка, ползавшая по краю стола, поднялась в воздух и улетела, выделявая пирамиды. – Я убрал его обратно в конверт и порвал на мелкие кусочки.

– Я тебе не верю. Никто бы так не сделал. Ну разве что Сати. Сати поступал еще более странно: он отвечал на письма, которые ему посыпали, даже не прочитав их. У него дома нашли все письма нераспечатанными.

— Ага, — сказал Томас, — у тебя всегда наготове какая-нибудь цитата или анекдот по случаю. Ты прямо как музыкальный автомат.

— Что это такое?

— Это такие автоматы, которые проигрывают музыку в барах. Стоит нажать на кнопку, и тут же начинает играть мелодия.

Я опустила глаза и допила свой кофе. Томас обладал удивительной способностью заставлять меня чувствовать себя глупо. Я не могу сказать, что мне это не нравилось, скорее наоборот. Я была уверена, что запачкалась пеной от кофе.

— Если кто-то мне говорит, что я не должен читать письмо, то это означает одно из двух: мне собираются рассказать что-то плохое, либо это чья-то глупая шутка. В любом случае, зачем мне тогда его читать? — Он протянул руку, чтобы очистить мой нос от пены. — Видишь, это так типично для женщин.

Я посмотрела на него. Я запачкала нос кофе?

— Они хотят знать правду, — продолжил он, — но, вероятнее всего, узнав ее, они ничего не смогут сделать. Мужчины же, наоборот... Разница в жизненной позиции: если они что-то узнают, то начинают действовать.

Новая работница книжного магазина оперлась руками на наш столик. У нее были очень длинные, покрытые черным лаком ногти и короткая футболка, которая открывала пупок, находившийся на уровне моей чашки.

— Тебя к телефону, — обратилась она к Томасу, словно он сидел один. Со мной она даже не поздоровалась.

— Иду, — ответил он, и девушка пошла обратно, шаркая своими ботинками на платформе. У нее на икре красовалось пятно, по форме напоминавшее миндаль.

— Женщины никогда не вызывали друг друга на дуэль. — Томас с силой затушил окурок в пепельнице. — Нет смысла; правдой все равно ничего нельзя добиться.

— Какой правдой?

— Любой правдой. — Он придинулся поближе, будто собирался попрощаться. — Сейчас вернусь.

Я вдохнула: виски, табак и легкий аромат мадеры. Этот запах Томас хранил годами. Запах, который был каким-то обещанием — ложным обещанием, я смогла в этом удостовериться, — страсти, защиты и стабильности.

4

Если бы с этого написали картину, то могли бы назвать ее «После обеда». Адвокаты и служащие офисов возвращались на работу. В этот час, казалось, опровергались все буэнос-айрские статистики: на каждого двух мужчин приходилось по одной женщине (а никак не по шесть) в блузке, мини-юбке из льна с полиэстером, на каблуках и в блестящих чулках, несмотря на жару. Такие чулки характеризуют определенный тип женщин: служащие исполнительного комитета, секретарши, юристы и дешевые актрисы. В полдень, ровно в 12 часов, в автобус зашел продавец этих самых чулок. Он достал одну пару из своего полуразвалившегося чемоданчика, перекинул часть чулка через железный поручень и начал им двигать из стороны в сторону, как чистильщик обуви. В окна с улицы залетал горячий воздух, внутри автобуса пахло мылом и потом, и было что-то непристойное в этом мужчине, который тер перекладину парой женских чулок и тыкал лезвием в шелковистую лайкровую ткань, чтобы доказать, что она не расползается. Пассажиры реагировали по-разному: одни, смущившись, смотрели на улицу, другие наблюдали за этим спектаклем, словно им показывали какой-нибудь порнофильм. Но никто так и не купил чулки.

Молодая босоногая женщина со сломанными зубами протянула мне руку: «Пожалуйста, доњња». Я посмотрела на ее шерстянную накидку на плечах; бедняки и старики не обращали внимания на погодные условия. Я прошла несколько шагов, но потом вернулась и дала ей монету в пятьдесят сентаво. Женщина непонимающе посмотрела на нее и даже не сказала мне спасибо, она ждала, что я дам ей песо.

Я пересекла улицу Корриентес только для того, чтобы посмотреть на обелиск. Он мне очень нравился за свою несуразность, такую простую и явную несуразность, которая оказывается притягательной, будто это может с каждым случитьсяся. Когда я была маленькой, мама мне рассказывала, что там, на самом верху, где окошко, жил один человек по имени Педро. Педро охранял город. Он видел сверху все, что делали дети, а самое главное, он видел все их плохие поступки, как бы они их ни скрывали. Сейчас, вспоминая все это, я удивлялась, почему мама не придумала какого-нибудь ангела или святого, которые бы жили в этом обелиске, занимаясь тем же самым.

Я вернулась на тротуар и пересекла улицу в обратном направлении. Гардель улыбался на афише с «Бессмертными», слишком загrimированный, он походил на накрашенного пингвина. Раньше, когда отец мне говорил: «Это Гардель», я всегда думала, что Гардель – это Педро из обелиска.

Я оглянулась и увидела вывеску «Майо», сложенную из железных букв. Днем она не бросалась в глаза, но ночью можно было прочитать только «Мао». Томас все никак не мог установить лампу на букве «i», может быть, с тем умыслом, чтобы его книжный магазин имел два революционных названия. У меня Мао всегда ассоциировалось с воротничком баллона, который так ненавидят мужчины, до тех пор пока я не наткнулась на статью Наталио Ботаны в газете, которую читал мой муж. Там было написано, что в пятидесятых годах в Китае во время культурной революции Мао Цзэдуна количество погибших было равно численности населения современной Аргентины. Меня радовало, что я живу в такое время, когда уже нет революций. Но я ничего не сказала Диего. Должно быть, историкам нравятся революции.

Я купила банку «кока-колы лайт» и, открывая ее, поставила пятно на своей белой кофточке, которую надела специально для Томаса. То что я одевалась для мужчины, для мужчины помимо Диего, совершенно не значило, что я неверная жена. Я это делала всегда, это было моим любимым занятием.

«Все мы, женщины, должны наряжаться не только для одного мужчины, – думала я, и еще: – Очень важно то, что мы это делаем для самих себя». Но последнее было не про меня.

И совершенно неважно, что прошло девять лет, на самом деле прошло девять месяцев, девять дней, девять минут: каждый раз, когда я вспоминала о Сантьяго – написал ли Сантьяго письмо или просто позвонил из Колумбии, не оставив послания на автоответчике, – для меня все было новым. Мне нужно было рассказать обо всем мужу. Но за что было меня прощать? За то что я всегда все портила? Я ломала вещи, пачкала их. Не помогал ни один пятновыводитель, всегда оставался след.

Я отодвинула от себя банку, чтобы сжать ее посередине – это одна из моих привычек; как дотрагиваться до всех телефонов-автоматов и оплачивать проездные билеты в автобусах и метро мелочью, как успеть добежать до угла, пока на светофоре не поменялся свет или автобус не начал движение после очередной остановки. На самом деле, это были не привычки, скорее предрассудки, маленькие ритуалы: если я это не сделаю, случится что-нибудь плохое. Например: этого мальчика в обрезанных джинсах на роликах, который переезжает улицу, сбьет двадцать четвертый автобус. После того как я покинула родительский дом и перестала посещать воскресную школу, я могла поверить во что угодно. Может, лучше было бы снова обратиться в религию, ведь меня к этому готовили.

Я выкинула банку. Она, упав на дно, звякнула. Урна была пустая. В Буэнос-Айресе люди ничего не кидали в урны, в основном они что-нибудь доставали из них. Пятьдесят сентаво за килограмм жестяных банок, я это прочитала в газете. Может быть, та женщина со сломанными зубами вытащит эту банку. Я прижала сумочку к груди и остановила такси.

5

– Расстегнитесь, пожалуйста, – сказал врач. Луч белого света пробежал по моему лицу и декольте. – Ничего хорошего.

– Да. Мне почти тридцать лет. Я уже взрослая для угрей. Не так ли? Для угрей и прыщей.

Он не засмеялся. Дерматологи всегда были странными, эта неотъемлемая черта отличает их от онкологов. Чтобы как-то компенсировать поверхностность своей профессии, они всегда ставят плохой диагноз. Он продолжал проверять меня под лампами, обводя пальцем более подверженные зоны, которые я не могла видеть. Как меняют вещи белая занавеска и лампа, подумала я, или, лучше сказать, то как их используют. Врач ощупывал мое лицо, мне это больше не нравилось, но я уже никуда не могла деться. Мне ничего не оставалось, как лежать и смотреть на вырисовывающееся в свете лампы лицо врача.

– Давайте попробуем продолжать принимать лекарства: вечером умываемся с Цетафилом и наносим гель Пуралос, как вы уже знаете, четыре капли на воспаленные места; и по утрам давайте добавим Эриакне в гранулах.

Почему он говорил во множественном числе, если сам он не собирался ничего этого делать?

– Я вам хотела показать это, – сказала я, показывая на кожу над грудью. – Эти родинки, видите? Они мне нравятся, но их становится все больше и больше, а некоторые даже начинают становиться выпуклыми.

Он потрогал их, словно соскребал отколупывающуюся от стены краску. Я чувствовала его несвежее дыхание, но слепящий свет от лампы помогал не замечать этого. Это так отличалось от того, как трогал их Диего. Или как их трогал Сантьяго. Никто, кроме Диего, после Сантьяго.

То что я позволяла прикасаться к себе только Диего (и доктору), не являлось никакой заслугой, просто больше мне никто не нравился. Нетрудно было быть верной, если Сантьяго был так далеко, если вот уже девять лет он был очень далеко. Разница та же самая, что ходить по карнизу на расстоянии одного метра от земли и тысячи. Любой смог бы пройти по карнизу на расстоянии одного метра, хоть и толщина и длина у этих карнизов были бы одинаковыми.

– Они безвредные.

– Что?

– Я говорю, они безвредные. Мы можем их вывести, если хотите, но они совершенно не опасны.

Он выключил лампу и повернулся ко мне спиной. Я застегнула молнию. Рядом с кушеткой стояли весы. Зачем дерматологу весы?

К карточке были приколоты отчеты о моих предыдущих визитах, написанные разными чернилами. Доктор помотал головой и пробурчал: «Явное возобновление угревой сыпи», но то, что он записал, никак не походило на то, что он только что сказал. Он попросил у меня страховое свидетельство, чтобы записать в рецепт номер благотворительного фонда. Круглые и четко написанные цифры контрастировали с неразборчивым почерком. Я записала в блокноте названия лекарств на случай, если фармацевт не разберет его каракули.

– Я могу загорать со спреем номер тридцать, как в прошлом году?

Он перестал писать и возмущенно на меня уставился:

– Солнце? Ни в коем случае!

– Но сейчас конец ноября. Все загорают.

– Послушайте, сеньорита. Все очень просто. Вы сами решайте: будет ли у вас лицо в угрях, прыщах и пятнах, но загорелое, либо у вас будет хорошая кожа.

«Я не сеньорита, – подумала я, – и вы это знаете, это указано в моей карточке. В такси, которое я поймала, чтобы доехать до консультации, наоборот, таксист мне надоедал тем, что все время обращался ко мне «сеньора». Это случилось уже третий раз за день; даже совсем недавно мне говорили, что я выгляжу моложе. Может, все дело в очках, я их носила гораздо реже, чем линзы. Белая сеньорита с хорошей кожей или загорелая сеньорита? Какой я хотела быть?»

– Неужели нет никакого выхода?

– Нет, – отрезал он и легким ударом поставил печать внизу рецепта.

Тогда я буду загорелой, решила я.

6

Цель: убить бен Ладена. Он начал вести кампанию против Соединенных Штатов в Афганистане. Первая большая наземная операция в этой войне. Несколько сотен полностью экипированных кораблей с помощью вертолетов были перенесены в Кандагар, последний крупный талибанский бастion.

Военные новости в газетах повторялись изо дня в день с небольшими изменениями, но все равно каждый раз они казались новыми. Это было похоже на молодоженов в начале семейной жизни или просто на начало любовных отношений: большие заголовки, которые потрясают еще до того, как ты переходишь к внутренним страницам, к взаимозаменяемым статьям. Я пробежала глазами по журналам, развешанным под козырьком газетного киоска, как мокре белье: модели и киноактрисы в бикини. Над актрисами были заголовки: «Новая Сюзана» или «Арасели снова возвращается». Вот уже на протяжении многих лет ничего не менялось. Я ненавидела способность этих женщин к постоянным перевоплощениям, я отлета к лету почти не менялась, если только немного в худшую сторону: пара морщин, пара лишних килограммов.

– Сколько? – спросила я, показывая на жасмин.

Мужчина, который одновременно продавал и газеты, и цветы, встал со своей скамеечки у киоска с газетами и подошел к цветам, которые находились на пару метров ближе к углу.

– Для вас два песо, – сказал он. Он собрал букет из десяти веточек; обычно их продавали за четыре, а то и за восемь. – Возьмите эти, у них еще несколько бутонов не раскрылись, они дольше простоят, – посоветовал продавец. Он завернул цветы в целлофановую бумагу, протянул их мне, убрал два песо в карман и вернулся на свое место к газетному киоску.

Я чувствовала, что иду по-другому, ведь у меня были цветы. Я очень давно не носила в руках цветы. В восьмидесятых годах была реклама каких-то духов: мужчина видит идущую по улице женщину, бежит к цветочному ларьку и догоняет ее с букетом. «Если кто-то, кого вы раньше никогда не видели, вдруг преподносит вам цветы, – это «Импульс»». С того времени пошла мода дарить цветы незнакомкам, но мне никогда не дарили. Однажды я купила букет лилий перед тем, как войти в «Майо». Конечно же, Томас спросил меня, откуда они. «Мне их подарили на улице, как в рекламе», – соврала я.

Я отделила бутоны от веток и положила их в стеклянную чашу, где они плавали на поверхности. Со стола в гостиной запах распространялся по всему дому. Пошла на кухню и открыла холодильник: яйца, ветчина, сыр, молоко, два йогурта, салат, два уже почерневших пучка базилика, два помидора и два куриных окорочка. Я не знала, что мне приготовить. Мне вообще не хотелось готовить. Я услышала, как в замке поворачивается ключ.

– Привет.

Диего зашел на кухню с букетом жасмина и белым пакетом из аптеки. Он поцеловал меня в губы. Рыбий поцелуй, губы чуть-чуть приоткрыты.

– Привет! – Я взяла букет у него из рук. – Спасибо. Я тоже такие купила. – Я сосчитала цветы: десять. Он их купил у того же продавца газет и цветов. – Но эти гораздо красивее.

Я открыла белый пакет и вытащила оттуда еще один, прозрачный, с валерьянкой. Развязала узел и понюхала: запах был, как от грязных ног.

– Хочешь, я приготовлю поесть? – спросил Диего, засунув голову в холодильник.

– Мне так хотелось, чтобы ты это предложил.

Я опустила жасмин в вазу из синего стекла, отнесла ее в гостиную и поставила рядом с телефоном. Разговаривая с Августином, я буду ощущать их аромат.

Без Августина дом казался пустым. Ни Диего, ни я никогда не смотрели телевизор, а он часами сидел у экрана. Сейчас мы скучали по этим звукам, как иногда скучают по надоевшему шуму какой-нибудь домашней техники, которую наконец-то отдали в ремонт.

Диего сходил в ванную, затем в спальню и вернулся на кухню. Мы передвигались по дому, как рыбы в аквариуме в гостиной.

Я достала с самой верхней полки серванта белую скатерть. Зажгла две свечи и погасила свет. Затем подошла к музыкальному центру и поставила диск Билли Холидэй.

Диего принес мне цветы. И сейчас готовит. Я счастливая женщина, подумала я. На его месте я не обходилась бы со мной так хорошо.

Мы нуждались в объединяющем нас духе. Он так же важен для страны, как и для семейной пары. Эрнст Тукендхат, чешский философ, говорил, что однажды все духовные ценности исчезнут и останется только одна – ценность совместного существования, которую мы также сможем определить только совместно. В качестве проверки журналист привел ему один исторический пример: английский офицер был назначен на службу в Индию. Как он должен был среагировать на существовавший в стране обычай сжигать вдов вместе с покойным мужем? Тукендхат не задумался ни на минуту: чиновник должен был вмешаться, только если вдова умирала против своей воли. Однако он добавил, что правильного решения в данном случае вообще не могло быть.

Чем жить согласно такой морали, не проще ли быть аморальным? Конечно, аморальность – это только форма морали, точно так же, как и отсутствие индивидуальности есть индивидуальность. Я подумала, не сходить ли мне за записной книжкой, но я уже разулась и удобно устроилась на диване.

На третьем этаже дома напротив женщина накрывала на стол. Диего открывал и закрывал дверцу духовки, снимал кастрюлю или сковородку с плиты. *I've got this man crazy for me, he's funny that way*, – пел Билли Холидэй. «Этот мужчина сходит по мне с ума». Были песни, в которых говорилось о других вещах, но мне хватало того, что я обратила внимание на эту, таящую в себе послание для меня.

Толстой (я это прочитала в одной из его биографий) чувствовал, что музыка его вдохновляла настолько, что вызывала несвойственные ему эмоции. Со мной же все происходило наоборот: казалось, что кто-то специально вставляет в мою жизнь эти песни, чтобы я что-то поняла, как в музыкальных комедиях. В песнях были слова, которые подходили для всего: так называемые инструкции по использованию реальности.

Диего пришел с кухни с двумя бокалами вина. Мы чокнулись.

– Давай позвоним Августину, – попросила я.

– Ну а если они еще до сих пор ставят лагерь? – засмеялся он. Потом посмотрел на скатерть, на свечи и добавил: – Завтра.

Мне так хорошо знаком был этот голос.

– Завтра мы ему позвоним.

7

Дневной свет пробивался сквозь жалюзи и полосками отражался на стенах и простынях. Вместе со светом в комнату проникал шум улицы: автоматические ворота, птицы, двери, которые то открывались, то закрывались, а за всем этим непрерывным фоном сигналили, тормозили и мчались по шоссе машины.

Диего оставил свою рубашку висеть на дверце шкафа. Когда я была маленькой, я боялась темноты. Стоило мне ночью вдруг проснуться, и школьная форма на вешалке превращалась в повешенного. Я всегда оставляла дверь открытой, чтобы комнату освещал свет из коридора, включенный специально для меня. Августин же, наоборот, никогда не боялся темноты. Может, боязнь темноты тоже присуща только женщинам?

Несмотря на валерьянку, я все равно плохо спала. Я лежала на боку, лицом к Диего. Выбившаяся прядь волос падала ему на лоб, как водоросль. Меня всегда удивляло: за сколько времени отрастает борода? Я как-то даже задумала понаблюдать ночью, как она растет. Но это, должно быть, то же самое, как наблюдать закат на пляже: стоит на что-нибудь отвлечься, и момент, когда солнце погружается в море,пущен.

Я знала это лицо лучше, чем свое. У моего мужа было лицо, которое любая женщина была бы рада видеть каждое утро, просыпаясь. Привлекательное и спокойное лицо. Я поняла, что готова прожить остаток своей жизни с Диего, когда первый раз проснулась с ним рядом.

«Сколько всего можно узнать о человеке, когда он спит», – говорил он. «Покажи мне», – просила я. И он поджимал ноги к груди и складывал руки под подбородком.

Интересно, стали ли уже похожими наши лица, как у тех пожилых пар, которые так долго пользуются одной и той же мимикой, что и черты лица становятся одинаковыми? Глаза у нас уже точно одинаковые: грустные, как две перевернутые половинки луны. У Августина глаза большие и круглые. Сейчас я уже не могла вспомнить, какие у Диего были глаза в самом начале.

Сантьяго тоже смотрел на меня, когда я спала или когда он думал, что я спала – в те времена, когда мы оба ютились на университетской кровати. В то утро первое, что я увидела, когда открыла глаза, был облупившийся по краям потолок; я повернулась на левый бок и наткнулась на лицо Сантьяго. Это было лицо древней статуи. Больше, чем жить с Сантьяго, я хотела умереть вместе с ним, умереть, глядя на него. Но Сантьяго проснулся: «Привет, красавица!» Точно так же он здоровался с собакой, сторожившей вход в общежитие университета.

– Я смотрел, как ты спала. Ты спала вот так. – Он скрестил руки на груди.

– Как мумия, – сказала я.

Сантьяго засмеялся. Он бы такого никогда не сказал.

– Да, точно. Как мумия. – И он меня поцеловал.

Кто мы, когда спим? Это один из тех вопросов, которые не дают уснуть по ночам. Иногда, когда я наконец засыпала, мне казалось, что я прыгаю, словно меня кидает из стороны в сторону. Будто переходу с одного уровня сна на другой, играя в классики: то ближе к жизни, то ближе к смерти. Когда моя бабушка умерла, мама мне сказала, что она уснула навсегда.

Диего повернулся ко мне спиной, и я стала разглядывать его вихры на затылке. Казалось, его затылок был специально такой формы, чтобы я могла положить на него ладонь. Хотя именно Диего всегда клал ладонь мне на затылок. Мне нравилось класть руки ему на плечи, они напоминали мне руль на моем велосипеде. Я знала, что могу управлять им как хочу.

Я целиком залезла под одеяло. Постель пахла сексом двухдневной давности и шампунем Диего... Она пахла семейной парой. Я уснула за несколько минут до того, как зазвонил будильник. Мне даже приснился короткий сон. Я ехала в поезде и вдруг увидела голову Сантьяго в другом конце вагона. Я пошла поздороваться с ним, но проход становился все длиннее и длиннее, и я так и не дошла до него.

8

На фотографии был изображен разрушенный город: руины, пыль и песок, земляная дорога, по которой брали, даже не взявшись за руки, женщина в синей накидке до пят и ее сын – маленький мальчик в больших штанах и зеленой жилетке. Казалось, что он идет немного позади матери, внимательно глядя на землю, будто ищет чего-то. Афганский ребенок, нена-много младше Августина. «Руины, – гласил эпиграф. – Мать и сын идут по тому, что когда-то было главным проспектом Кабула, такому же разрушенному, как и большая часть афганской столицы».

В статье ничего не говорилось о женщине с ребенком. Сколько человек погибло? Тысячи, сотни, десятки? Одно и то же, везде писали одно и то же, в этом проблема всех газет. Единственным способом заинтересовать читателей было бы рассказать о матери с сыном. Как в военных фильмах. Не важно, сколько народу погибло в целом; для того чтобы вызвать эмоции, нужно было отвести камеру на передний план. Лицо этой женщины похоже на мое, хоть оно и спрятано под накидкой. Ребенок похож на Августина.

– Я бы хотела поговорить с Августином Ринальди, пожалуйста. Это звонит его мама.

Кто-то положил телефонную трубку, затем послышались шаги, далекие крики и бег Августина.

– Алло!

– Алло. Это мама.

С того момента как Августин научился говорить, у него был низкий голос. Казалось бы, хорошо, что его нельзя ни с кем спутать, но я никак не могла привыкнуть к его голосу по телефону. Немного хриплый и надтреснутый.

– Все хорошо?

– Да. Я играл в футбол.

– Холодно?

– Нет.

– Ты хорошо ешь? Чем тебя сегодня кормили?

– Рисом.

– Не хочешь вернуться?

– Нет.

– Ну давай, расскажи мне что-нибудь. Чем ты занимаешься? Ты себя хорошо ведешь?

– Да.

– Много не загорай. Надевай кепку. И не забывай мазаться кремом для загара.

– Мама, никто этого не делает.

– А в палатках чисто?

– Да. Только на полу немного земли.

– Тебе там точно хорошо? Уверен, что не хочешь вернуться?

– Да.

– Ты забыл свои липучие фигурки.

– Да, но это не важно.

– Я нашла динозавра у тебя в кровати и убрала его в ящик.

– Чтобы его не стащил твой друг. Он уже приехал?

– Нет. Папа тебе...

– Все, пока! Меня зовут.

Я повесила трубку, закрыла газету и отнесла пустую чашку на кухню. Я мыла посуду, когда снова зазвонил телефон. Может, это Августин забыл мне что-нибудь сказать?

Но это был не Августин. Это была моя мама. Голос у моей матери был такой, словно она ходила по тонкому канату, и казалось, что случилась какая-то беда или что она сейчас начнет меня в чем-то упрекать. Я изучила дорожку из капель на полу. Сняла резиновые перчатки и положила их рядом с цветами.

– Ты мне никогда не звонишь.

– Тогда сама позвони мне.

– Я это и делаю. Ты разговаривала с Августином?

– Да, только что положила трубку.

– Какое безумие отправить его одного так далеко, он же еще такой маленький. Ты спрашивала, не холодно ли ему там?

– Да.

– Он ест? Не хочет вернуться? Ему там нравится?

Почему она уже не задает мне таких вопросов? На протяжении последних нескольких лет я сама звоню, чтобы спросить ее: ты тепло оделась? Ты приняла лекарства? В какой момент родители превращаются в детей? В какой момент дети перестают быть детьми? Когда Августин станет моим папой?

– Что, мама?

– Я спрашиваю, когда приезжает твой друг?

– Какой друг?

– Колумбиец.

– А... Во вторник.

– Хорошо.

Наступило молчание. Мне вдруг стало интересно, качает ли мама головой.

– Ты должна выглядеть красиво.

– Что?

– Я говорю, ты должна выглядеть красиво. Он холостой?

– Да. Нет, в разводе.

– А-а, женат...

Было время, когда мы обсуждали эту тему. Для мамы существовало только два типа мужчин: холостые и женатые; причем под определение «женатые» подходили разведенные, просто живущие отдельно и на самом деле женатые. А что касается холостяков и вдовцов – это одно и то же. Но, насколько я знала, Сантьяго был холостым, а не разведенным. Зачем я сказала, что он в разводе? Но какое значение это уже имело сейчас?

– Сильвина спрашивала меня про тебя.

– Кто?

– Сильвина, твоя приятельница по колледжу. Я ее встретила в булочной. Она до сих пор не замужем, бедняжка.

– Мама, извини, но мне надо идти, у меня индейка в духовке.

Бедняжка. Иногда я думала, что существуют две вещи, которых я боюсь больше всего на свете: что моя мама начнет меня жалеть и что я когда-нибудь стану на нее похожей. Может быть, это одно и то же, потому что мама жалела даже саму себя.

Но я была замужем, имела ребенка. Диего обо мне заботился. Сантьяго никогда не мог бы делать этого. Может быть, самый важный поступок в своей жизни я совершила именно для того, чтобы мама меня не жалела, чтобы заслужить ее одобрение; мама считала, что это ее заслуга и что за это я должна быть ей благодарна.

9

— Человеческое тело открывает нам путь к природе, его строение аналогично строению тела травоядных. Это мы берем за основу.

— Да, но мы разумны.

Я хочу убежать от этого разговора, от тех, кто его ведет: парочки подростков в стиле хиппи. Парень на секунду замолкает и встает, чтобы уступить место беременной женщине. Его нога виднеется среди кожаных лент, мягкая и белая, как сырое тесто для пирога. Он весь похож на тесто и даже пахнет точно так же. Он встает рядом со своей спутницей, держа в руках гитару в кожном чехле. Я представляю его с распущенными волосами, сидящего в позе Будды на незаправленной кровати, сверкающего грязными пятками. За его спиной плакаты с изображениями рок-певцов, в комнате стоит запах ароматических масел, а он перебирает струны своими длинными ногтями, пытаясь соблазнить девушку с помощью песен без ритма, состоящими из таких слов, как «душа», «оазис», «жизненная сила». Чего ждет девушка, чтобы выйти и оставить его? Я уверена, что ему даже не нравятся ее красные волосы, ее белоснежная кожа; я также уверена, что он никогда не пытался сосчитать ее веснушки. Он наверняка дарит ей только одежду из бамбука, серьги из риса и искусственные камни. Но девушка не собирается выходить. Они продолжают ехать вместе, позабыв о разговоре, до тех пор, пока у них не останется ничего, кроме этих детских разговоров. Они приедут в какой-нибудь парк и будут курить травку, глядя на небо.

Я смотрю в окно, как будто ныряю в бассейн. Двое мужчин, скорее всего дорожные рабочие, с задранными над толстыми животами футболками. Их это спасает от жары? В чем виноваты люди, которые проходят мимо или смотрят на них, как я, из автобуса?

— ...Уж что мне точно не нравится, так это их кожа. Ладно, пусть она мне не нравится...

Маленькая девочка в коляске гуляет со своей бабушкой, крепко сжимающей кошелек под мышкой, как будто он уже сросся с нею. Девочке не больше двух лет. Я машу ей из окна, и она поднимает свою маленькую ручонку. Мы с ней здороваемся, пока бабушка ищет ключ в кошельке. Движение на дороге приостанавливается, и мы продолжаем махать друг другу, пассажиры смотрят на нас.

— ...существуют немецкие продукты, которые имитируют вкус чего угодно, они похожи на желатин.

— Это хорошо, потому что тогда не надо убивать животных, не так ли?

Девушка с длинной косой и в оранжевой мини-юбке выходит из дома со своейдрессированной собакой. Мне бы хотелось иметь такую дочь. В ней есть все то, чего мне недостает: грация, уверенность в себе, жизнерадость, легкомыслие, длинные волосы и оранжевая мини-юбка. Нет, на самом деле это не так. Я всегда хотела иметь мальчика, а не девочку: Что бы я делала, если бы моя дочь обладала теми качествами, которые я больше всего ненавижу в женщинах, или, хуже того, если бы она была похожа на меня? Мне вполне хватало одной, такой меня. Без сомнения, больше вероятности, что я буду хорошей матерью для мальчика.

— Посмотри на свои сандалии. Где взяли кожу, чтобы их сделать? Какая разница, что взять у коровы: кусок мяса или кожу для пары сандалий?

Я иду по улице Корриентес по направлению к Театру Святого Мартина, разглядывая витрины с дисками, навесы, афиши с лицами актеров, развешанные на дверях театров, сообщающие о том, что сейчас идут детские спектакли, на которые Августин не пойдет, если только его не приведет Диего; через окна я заглядываю внутрь баров — обычно в пять часов вечера люди едят пиццу: взгляд документалиста.

Афиши со спектаклями для взрослых развешаны в холле: «Собремонте, отец нашей родины», «Цианид во время чая», «Человек и сверхчеловек». Нет такого плохого фильма, который я решила бы променять на спектакль в театре. Экранные персонажи не чихают, когда не должны, не вздыхают, не делают много лишнего шума, не ошибаются. Хотя настоящая проблема театра в том, что он очень далек от реальной жизни; все слишком метафорично, абстрактно или просто надуманно, когда не похоже на цирк, мне никогда не нравился цирк. С театром, наверное, произошло то же самое, что и с живописью после появления фотографии: когда возникло кино, он отказался от реализма. Однако в живописи он еще существовал. Но какая разница? Никто же не спрашивал моего мнения.

– Прекрасный спектакль. – Мужчина в плаще показывал на одну из афиш, где актеры с напыщенным видом стояли лицом друг к другу.

Я вхожу в зал «Лугонес», как тот, кто первый раз входит в заведение, посещаемое только мужчинами. Стены отделаны деревом, кресла из кожи кремового цвета, специально неудобные; я сажусь в то, которое стоит прямо передо мной. На протяжении нескольких лет это место было моим убежищем, местом, где я могла забыть об университете, о маме, о самой себе, обо всем мире, о Томасе. Зачем я пришла сюда сейчас? Наверное, чтобы забыть о Сантьяго. Чтобы перестать думать о нем хотя бы на пару часов.

Запах талька и нафталина; я могла бы поклясться, что это те же самые старики, что сидели в этих креслах десять лет назад. Им все равно, что показывают: «Украденные поцелуй» Трюффо или «Пляску любви», это как наблюдать за фокусом: не важно, что это за фокус, а важно, в чем он заключается. То же самое, что иногда происходит с некоторыми электрическими приборами. Что продолжает этих людей удивлять, так это гигантские образы, которые возникают на экране. Как появляются города, пейзажи, двигающиеся люди. Мне тоже до сих пор это кажется каким-то фокусом. Например, подмигивание; актеры театра не подмигают.

– ...*Но этот мусор всегда существовал.*

Голос прозвучал категорично. Я уверена, что это был не тот мужчина в плаще. К чему это относились: к коммунистам, военным, политикам, евреям, порнографии? Надеюсь, он не будет больше ничего говорить на протяжении фильма, подумала я, хоть и понимала, что надеяться на это было бы слишком.

10

Единственный способ узнать побольше о Сантьяго – это смотреть его фильмы. Он снял два. И оба были представлены на фестивале латиноамериканского кино. Их копии были плохого качества и сопровождались плохим звуком, но это было не так важно, потому что фильмы, как и сам Сантьяго, отличались почти полным отсутствием диалогов. Картины были хорошие, местами даже гениальные, но я смотрела их с другой целью, я бы смотрела их, даже если бы они были ужасными.

Мне казалось, что главных героев играли актеры не такие выразительные, как Сантьяго, он сам должен был их сыграть. Они были менее талантливы, чем он, но, в конце концов, он так решил. Я выходила из кинотеатра с чувством тревоги и легкой вины (будто что-то украла), но в то же время успокоенная. Я возвращалась домой и целовала сына и мужа, и у меня было такое чувство, что я только что избежала неминуемой смерти.

И все же в наших отношениях с Сантьяго никогда не было никакой определенности. Он мне ни разу не говорил, что любит меня. Он даже не говорил, что я ему нравлюсь. Точно так же и его герои поступали с женщинами, в которых влюблялись. Они и вели себя, как женщины: не делали никаких попыток соблазнить их. Мужчины всегда молчали, и это молчание выводило женщин из себя; в итоге они сами подходили, целовали их и в конечном счете вели в кровать. Они были похожи на марионеток, женщины должны были завести механизм, который привел бы их в действие. Они влюблялись и даже страдали из-за любви, но и пальцем не пошевелили, чтобы что-то изменить, чтобы удержать или вернуть своих женщин, точно так же, как и ничего не делали вначале, чтобы завоевать их.

Один из героев оставил свою возлюбленную в доме, где они вместе жили, и перестал писать ей и отвечать на ее письма. Другого, наоборот, покинула его любимая, ничего не объяснив, но он и сам не потребовал объяснений, а просто посвятил свою жизнь коту, которого она ему оставила. Только герой последнего фильма предпринял какие-то действия: девушка пришла к нему в гости – она была парижанка, они познакомились в «Кафе де Флор», и он пригласил ее к себе, думая, наверное, что она не придет. Дом находился посреди леса, хотя в кино это место больше походило на дельту Амазонки. Девушке наскучил лес или молчание Себастьяна (так в этом кино звали прототип Сантьяго), а может, и то и другое, и она захотела вернуться обратно; он перевозил ее на лодке, и вдруг ему в голову пришла мысль удержать ее: он сделал вид, что не справляется с веслами, лодка перевернулась, и все вещи утонули (сумочка девушки, одежда, паспорт), она не умела плавать, и он ее спас. На этом фильм и закончился. Возможно, в следующий раз, когда она решит уехать, он ничего не сделает, чтобы удержать ее. Должно быть, сложно жить с таким мужчиной.

После просмотра этого фильма я встретилась с Гонсалесом. Гонсалес – это кинокритик и один из организаторов фестиваля. «Правильный фильм, у меня нет претензий», – сказал он мне. Но в чем заключается правильность какого-либо фильма? Я его слушала, словно ждала, что он это чем-то докажет. Но Гонсалес просто продолжал кивать; он носил костюм, который был явно ему мал и открывал черепашью шею; еще он причмокивал языком и, когда говорил, прикусывал нижнюю губу. Он не разбирался ни в чем, кроме технической стороны фильмов Сантьяго.

Два года спустя я снова его встретила, когда выходила с просмотром «Украденных поцелуев». Он поздоровался со мной несколько сдержанно, плохо скрывая смущение. На нем опять был маленький костюм, только в этот раз брюки были в клеточку, а также добавлены полуботинки и очки в красной оправе. Было видно, что он под впечатлением «Украденных поцелуев», хотя наверняка смотрел его уже четвертый раз. Или, может быть, я единственная, кто смотрела

его четвертый раз. В любом случае, я не собиралась обсуждать этот фильм с Гонсалесом. Я бы могла поговорить с ним о Тарковском или Фассбinderе, но только не об *этом* фильме.

Я достала из сумочки «Клинекс». Гонсалес мне нежно улыбнулся, очарованный уже не фильмом, а моими глазами.

— Я простыла, — попыталась я ему объяснить, — я всегда простываю в начале лета.

Цель оправдывает средства — это мой девиз. Я задержалась на несколько минут перед театральными афишами и пошла искать телефонную кабинку, чтобы позвонить Диего.

— Я собираюсь перекусить и посмотреть какое-нибудь кино с девчонками, — говорю я; на самом деле я собираюсь перекусить и посмотреть какой-нибудь фильм с Гонсалесом.

Иногда я думаю, что мой муж был бы идеальной супругой для неверного мужа. А может быть, идеальным мужем для неверной жены. Но я верная. Или *пока* верная? Но я не хочу думать об этом.

Чем больше я смотрю на фотографию Сантьяго, которую храню в путеводителе по Мадриду, тем больше он становится на ней совсем на себя непохож. Его лицо стирается из моей памяти, как переводные картинки на фантиках жвачек, которые Августин слюнявит и приклеивает на внешнюю сторону ладони, а через несколько дней они стираются от воды. У Гонсалеса есть фильмы Сантьяго, а может, у него даже есть последний короткометражный фильм. Смотреть их — то же самое, что провести несколько часов с Сантьяго. Таким образом я оказалась в квартире Гонсалеса. Мне необходимо было посмотреть «Ни слова об этих женщинах», и сейчас я читаю строки, которые остальные будут читать на афише Театра Святого Мартина на следующей неделе, когда начнется цикл «Лето с Ингмаром Бергманом». Гонсалес дал мне ее почитать, чтобы я что-нибудь исправила, расставила или убрала некоторые акценты. Вся эта теория о «широких» и «замкнутых» пространствах, о дыхании и удушье расписана очень хорошо. Но тогда Гонсалес видел другой фильм. Я чувствую, что у меня поднимается бровь, как у Евы Дальбек, пока я читаю это.

Зачем этому мужчине смотреть столько фильмов? Как он их обдумывает и зачем носит эти штаны? Гонсалес ничего не знает о фильме, разве что сценарий, несколько диалогов и имена актеров и режиссеров. Словно он составляет краткий пересказ. Чтобы разнообразить его, он добавляет различные теории, которые берет из литературных журналов.

Вот Сантьяго действительно разбирался в кино. Он действовал, говорил и двигался, как герой какого-нибудь фильма. Он использовал мало жестов и слов, внешне всегда был апатичен, а-ля Богарт, с желанием прекратить позволять другим распоряжаться его жизнью, словно был какой-то сценарий, по которому должен был играть только он.

Гонсалес говорит, что следующим циклом в «Лугонес», после Трюффо и Бергмана, будет цикл Феллини, и я снова погружаюсь в «Амаркорд» до того, как понимаю истинную причину, зачем я здесь, и стойко переношу его взгляды на протяжении всего фильма, будто я — дополнительный экран, где могут развиваться параллельные события, тяжелое дыхание Гонсалеса и капли пота, выступающие на его лбу.

Музыка Нино Рота, скатерти колышутся на ветру, столики опустели, влюбленные и гости расходятся. Есть ли что-нибудь более грустное, чем конец праздника? Этого самого праздника. Любой праздника.

Гонсалес плачет. Из-за фильма? Из-за таракана, ползущего по дверному косяку? Из-за этой тесной квартирки — темной и грустной, которая вызывает клаустрофобию, как, по мнению Гонсалеса, некоторые фильмы Бергмана? Или потому что уже знает, что я даже не поцелую его, а он даже меня об этом не попросит? Потому что сегодня четверг, а не субботний вечер, потому что я никогда бы не пришла к нему домой вечером в субботу?

Он не поднимается, чтобы вытащить кассету. Мы сидим на подушках перед телевизором, вдыхая запах остатков курицы и холодной картошки-фри. Шум вентилятора моментами

заглушает астматическое дыхание Гонсалеса, а его прохладный воздух освежает, перемалывая лопастями жару.

Он смотрит на меня, изучает мой профиль. Один кадр. Другой. Я поворачиваю голову к окну: серые стены домов и небо без звезд.

– О, – я указываю на надписанные коробки от кассет, выставленные, как книги на полках, и стараюсь сделать безразличный голос, – у тебя есть фильмы Айалы?

– Да, и даже последний короткометражный, очень хороший. Мне его прислал один друг из Бразилии вместе с другими латиноамериканскими короткометражками. Они делают фестиваль в Рио, и он хочет провести его потом в Буэнос-Айресе, чтобы оправдать расходы.

– И?

– Мне кажется, это будет сложно.

– Ты мне поставишь этот фильм?

У главного героя голос тихий, мягкий и немного певучий, как у самого Сантьяго. Он сидит в кресле с высокой спинкой спиной к зрителям. Психоаналитик – очень симпатичная женщина в очках. Очки производят двойное впечатление: можно подумать, что она выглядит куда привлекательнее без очков, когда, на самом деле, привлекательной ее делают именно очки. Она дает ему выговориться, и он говорит. Говорит о своей сестре, о том, что он провозил кокаин через границу, чтобы заработать денег и навсегда уехать из своей страны. Сеанс, не закончившись, прерывается и плавно переходит в другой, оформлением и динамикой похожий на предыдущий, с единственной разницей, что пациент каждый раз более открыт и расположен к анализу. Атмосфера сеансов начинает меняться с рассказа о похищении отца. Аналитик хочет добиться – а ее стратегия слишком очевидна, – чтобы он осознал свою скрытую вину в этом похищении. В ее интерпретации пациент хотел отделаться от отца, чтобы защитить мать; по ее мнению, эта связь ярко выражает скрытый гомосексуализм. Последний сеанс проходит в полной темноте, слышатся только голоса, музыка, звон бокалов: аналитик приглашает его домой, они ужинают, танцуют и в конце занимаются любовью.

В этот раз Гонсалес ничего не говорит. Мы спускаемся на лифте, и на прощание я целую его в щеку. Думаю, мне все-таки следовало взять у него зонтик, но мне уже ничего не надо от Гонсалеса. Я смотрю на небо. Иногда мне кажется, что в любой момент может пойти дождь, как в кино.

Диего еле отрывает голову от подушки и приоткрывает один глаз:

– Как все прошло?

Уже начинают падать первые капли. Я закрываю окно и опускаю жалюзи:

– Хорошо. Тебе привет. Девчонки передают тебе привет. Спи.

Я складываю одежду, кладу ее рядом с сандалиями. Выключаю свет и забираюсь в кровать. Последний фильм Сантьяго показывают на всех стенах комнаты.

11

Значительную часть своей жизни я провела в автобусах. Это одно из преимуществ человека, родившегося и выросшего в пригороде. Иногда я думаю, что люди, не пользующиеся автобусами, чего-то лишаются, хотя я точно не могу сказать чего.. Еще меня удивляет, что я могу перемещаться одна. Это своеобразное доказательство того, что я уже взрослая: я могу перебраться из одного места в другое самостоятельно, без сопровождения, без того что кто-то следит за тем, как я перехожу улицу; я сама покупаю билет. «Меня тоже удивляет, что ты можешь сделать это сама», – пошутил Диего, когда я ему это сказала.

В Санта-Фе я села на двенадцатый, затем пошла пешком до остановки тридцать седьмого. По дороге я посмотрела на свое отражение в витрине магазина «Все за 2 песо» и представила себя одиннадцать лет назад: девушка, вцепившаяся в свои книги, с большой сумкой, которую я всегда безалаберно оставляла открытой.

Над Родригес-Пенья, перед Ривада-виа, вывеска гласила: «Центр биоинженерии и созидания». Остаток пути я хорошо помнила. Площадь Конгресса и голуби. Это здание – современный ответ самым красивым старым строениям, о которых я в те времена знала только из фильмов и путеводителей. Немного от парижской Оперы, немного от Мадлен. Для этого я училась в частном университете: получить стипендию и отправиться за океан, туда, где находятся все эти здания, где находится настоящая красота. По крайней мере я об этом думала, когда мне было восемнадцать лет. Сейчас я уже не была так уверена, я уже не была уверена ни в чем, но в то время у меня еще были определенные цели в жизни. Зрелость приходит по этапам: ты приближаешься к тридцати годам и понимаешь, что должна всему учиться заново, для того чтобы к двадцати годам стать самой умной, а затем ты понимаешь, что все, чему ты научилась, тебе никак не пригодится.

Из этого и состоит Буэнос-Айрес: угол Рима, проспект Мадрида или Барселоны, несколько фасадов Парижа. Заимствованная архитектура, которая в конечном итоге уже стала считаться собственной. Я была похожа на этот город, который никогда полностью не был моим городом. Я была, как он: печальная и лживая.

Три с половиной женщины на одного мужчину, гласила статистика. Буэнос-Айрес был городом женщин. Одни выходили из дома и шли на работу: влажные волосы, сумка на плече и пакет из бутика с бумагами и обедом в специальной коробочке; другие шли ненакрашенные, с косметичкой в сумке, чтобы намалеваться в такси или в автобусе. Я смотрела на их лица, на походку, на то как они поправляют волосы. Я могла угадать, занимались ли они любовью этой ночью или даже утром, прямо перед завтраком: на лице чуть заметная улыбка, будто легкий налет, тело словно без костей, шаги и движения воздушные. Больше всего женщин на автобусных остановках: они производят маневры с ребенком, которого держат за руку, и младенцем на руках, чтобы вытащить деньги и заплатить за билет. Вот, например, эта, которая зашла в автобус с младенцем в пеленках и мальчиком примерно одного возраста с Августином, который сразу же сел подальше от матери на первое сиденье первого ряда, самое опасное. Почему город вдруг наполнился мальчиками восьми лет? Что, интересно, сейчас делает Августин?

Какая-то женщина в пижаме кричала, стоя на крыльце своего дома: «Сукин сын, как же ты мне сделал хорошо, сукин сын!» – и хваталась за свою курчавую голову. Мимо нее прошла пожилая сгорбленная женщина, шевеля губами и даже не глядя в ее сторону. В кондитерской на углу Альсины и Комбат-де-Лос-Посос рыдала девушка примерно моего возраста, прислонившись лбом к витрине и поставив локти по краям чашечки холодного кофе. В автобусе, через два сиденья от меня, девушка разговаривала по сотовому телефону, и ей было не важно, что ее разговор слышат все пассажиры: «Хорошо... Ладно... Иди один, тащись за всеми юбками, но знай, я буду делать то же самое».

Я вышла вслед за матерью с младенцем и мальчиком возраста Августина. Подождала, пока на светофоре загорится зеленый. Рядом со мной остановилась группа девушек в школьной форме со своим руководителем-женщиной в белом балахоне. Я посмотрела на их лица, на загорелые ноги под школьными платьями. Должно быть, они загорают во дворе своей школы, намазываясь «Коппертоном» или каким другим кремом для загара, как это делала я в их возрасте.

Мы вместе перешли улицу. Я когда-то была одной из этих девочек. В то время я проходила сто метров, которые отделяли школу от моего дома. Мама ждала меня из школы с приготовленным обедом и включенным телевизором. Я приходила, снимала балахон и еле-еле успевала помыть руки перед началом «Хозяина и господина».

Завернув за угол, девочки горячо попрощались, словно они не встретятся в понедельник, и пошли в разные стороны. Некоторые из них зашли в кафе-мороженое. Я видела их лица в зеркалах, они изучали меню.

Этого кафе не было, когда я училась в школе. Вместо него была мастерская по ремонту домашних электроприборов. От находившегося рядом рыбного магазина запах распространялся по всему кварталу. Должно быть, это раздражало всех соседей, но мама говорила, что это будет длиться недолго. Видеоклуб здесь тоже долго не продержался, а закусочная еще меньше. На этом месте раньше был магазин шляп, но я никогда не видела, чтобы туда кто-нибудь заходил, а тем более мерил шляпы. Вместо закусочной сейчас был прокат машин «Remi's». По какой-то непонятной причине хозяева подобных заведений обожали эту «кавычку» из английского и французского языков; они не умели ее правильно использовать, делали ошибки в числе и роде артиклей, но давали такие названия, как «L'Mirage», «Deluxe's», «Le Voiture». Казалось, они думали: «Пусть все останется, как есть, но зато мы дадим впечатляющее название». Перед моим домом, где раньше была кооперация, возвышалось «Бинго». «Бинго» было для соседей настоящим Лас-Вегасом. Как и для меня здание Конгресса, до того как я побывала в Европе.

Я позвонила и стала ждать. Посмотрелась в дверное стекло: надо было накраситься. Грасиэла открыла мне дверь.

Это была парагвайская девушка моего возраста, но казалось, что она лет на десять меня старше. Она не была страшненькой. Интересно, есть ли у нее жених. Мама заставляла ее носить специальную форму, которую купила в магазине «Онсе»; одна синяя, другая черная в мелкий белый горошек, по крайней мере, эти модели мне нравились. Сегодня на ней была синяя, которая ей больше шла.

– Привет, Вики, – только в этом доме меня называли Вики, – сеньора в парикмахерской напротив, – и она указала в сторону парикмахерской «Альдо'с».

Солнце «сияло сквозь окна со стороны сада, и шум жарящегося мяса смешивался с пением птиц. Грасиэла оставила недорезанный салат на деревянном столике.

Я засунула руку в сумку для хлеба: хлебцы, поджаренные и хрустящие. Мама всегда посыпала меня в булочную с этой сумкой с белыми и черными квадратиками, которые составляли слово «хлеб». Когда вернется Августин, я возобновлю эту традицию: пошлю его в булочную Санта-Фе с такой же сумкой. Я положила хлебец обратно в сумку и посмотрела через окно в сад. За несколько месяцев до того, как родился Августин, Диего покрасил в желтый цвет гамак и в красный – качели, на которых я качалась еще в детстве. Но сейчас, когда мы приходили в гости, Августин только смотрел телевизор и не выходил в сад.

«С завтрашнего дня прекращаю думать о Сантьяго», – сказала я себе таким же тоном, каким поздравляла себя с тем, что смогла удержаться и не съесть хлеб. Я заглянула в гостиную, которую всегда запирали на ключ – «чтобы грязь не носили», – говорила мама. Сейчас не было необходимости закрывать ее, но там, рядом с раздвижной дверью, были дорожки. Моя мать ходила по полу, застланному плюшевыми дорожками, и надевала на кресла белые чехлы, которые служили вторым покрытием. Когда приходили гости, она снимала чехлы и убирала

дорожки. Иногда, в особых случаях, она доставала серебряные приборы и бабушкины бокалы. Но я не была таким случаем.

Пыль и свет проникали в комнату моих родителей. Мне казалось, что я вижу своего отца, облокотившегося на спинку кровати и читающего газету, ожидая приглашения к столу; он забрался на кровать в обуви, будто специально, чтобы позлить маму. Последний раз, когда я его видела, он и был в этой самой кровати, из-под одеяла торчали только лицо и руки, а кожа была бледная и вся в пятнах.

Он умер во сне – так сказала мама. «Как бабушка», – подумала я. Но я уже знала, что такое смерть. Одно дело уснуть, другое – умереть.

В душе я благодарила его за такую смерть – внезапную и молчаливую, – мне не пришлось наблюдать, как он стареет, не пришлось это осознавать, мне оставалось просто любить его. Сейчас моя мама могла стать воплощением того, что я любила. Она могла сказать: у папы было превосходное чувство юмора, папа был всегда очень строгий, папе никогда не нравились твои женихи, ему нравилась Эспередина и финики в сиропе. Это была ложь, но никто не осмеливался ее отрицать, даже сама мама.

Последний номер журнала «Ола» лежал на банкетке рядом с ночным столиком мамы. Он был открыт на странице со статьей о Максиме Сорргиете, аргентинской принцессе в Голландии, одетой в свадебное платье. Я закрыла журнал и открыла ящик: успокоительное, снотворное. Пока отец был жив, мама глотала эти таблетки, как конфеты. Наверное, она перестала принимать их после его смерти.

На комоде стояли две свечи. Подобие маленького алтаря Богородицы Розарии Сан Николас – аргентинской святой, последней, которая творила чудеса; рядом лежал молитвенник и сухая ветка оливкового дерева, которую мама меняла каждое Вербное воскресенье. Фотографии в серебряных рамках или, скорее всего, в рамках из стали: Августин в саду на красных качелях; Августин в Мар-дель-Плата, перед замком из песка, который построил не он. Виргиния, задевающая свечи на свой шестой день рождения; Виргиния – выпускница седьмого класса, обнимающая своих родителей (мама с высокой прической, папа еще не седой, в синем костюме и с галстуком); Виргиния у французской новогодней елки, ее первое Рождество вне дома.

«В детстве мы такие, какие мы есть на самом деле», – говорил Джон Ирвинг в какой-то передаче. Я посмотрела на все эти фотографии, затем в зеркало над комодом. Кем я была до Сантьяго, до Диего? Кем я была до Августина? Кем я хотела стать? Я надавила на прыщик около носа, и на стекле образовалось маленькое пятнышко, которое я стерла рукой.

В этой комнате заканчивалось путешествие в страну без секса. Дом моих родителей был как Пингелап, остров людей, не различающих цвета-, о котором рассказывал Оливер Сакс. Вся культура ахроматическая, со своими собственными вкусами, искусством, манерой одеваться и готовить. «Это совершенно не значит, что она беднее и неустойчивее», – говорил Сакс. Но мне жизнь моих родителей никогда не казалась насыщенной и устойчивой. Феномен этого острова заключался в микронезии, которая охватила шесть или семь поколений: они не могли различать цвета, но хорошо распознавали бананы и вообще отлично знали географию острова; в их понимании их визуальный мир был полноценный. Что больше всего их удивляло, так это количество пространства, которое занимают у всего остального мира оттенки разных цветов.

Это тоже была ложь; возможно, первая ложь, которая причинила мне настоящую боль, когда я узнала, что мои родители занимались любовью на этой кровати, пока я спала. По крайней мере один раз они это точно делали. Я вспоминала, как однажды ночью стояла за дверью: я хотела увидеть или услышать что-нибудь, но они только читали газеты или журналы; мама первая начала свои действия (я услышала звук поцелуя) и погасила свой ночник, через несколько минут отец погасил свой. Вздохи заполняли все пространство, соединяясь и отделяясь, как в каноне. И единственное, что я услышала немного погодя, – это как журналы падают с кровати

и ударяются об пол, и еще позже, когда я уже вернулась в свою комнату, – шаги папы или мамы по направлению к ванной и шум воды.

Мама никогда не говорила о сексе даже со своим психоаналитиком. По возвращении из Европы я решила жить отдельно. Дома как будто взорвалась бомба, «нож распорол» маме сердце, из-за этого, по моей вине, она стала ходить к психологу, хотя до пятого сеанса она не осмеливалась открыть ей настоящую причину.

Психолог однажды позвонила мне домой и попросила приехать к ней. Консультация находилась рядом с церковью, и меня рассмешила мысль, что мама, выйдя с сеанса, идет причащаться и читать молитву, а затем исповедуется священнику, рассказывая то, что она только что говорила аналитику.

У психолога была просторная квартира, похожая на ту, которую я тогда снимала, единственная разница была в том, что, должно быть, она была более светлая, когда поднимали жалюзи. Женщина указала мне на диван. Тогда я впервые увидела диван психоаналитика, но я села на стул, даже не сняв пальто. Она молчала, ожидая, что я заговорю первая. Она меня не знала: я никогда не начинаю разговор, больше того, я всегда отвечаю лишь из вежливости.

– Не рассказывайте своей матери, куда вы ходите, – наконец произнесла она, – не рассказывайте ей о своем путешествии, о том, что вы делали в Европе.

Это, без сомнения, был странный сеанс, но я никогда не была у психолога.

– Я вас не понимаю.

– Да, разговаривайте с ней о чем-нибудь другом. – Она выдержала паузу. – Знаете, в чем проблема вашей матери? Ваша мать…

– Я не хочу этого знать. Я не просила вас о чем-либо мне рассказывать.

Я задержала взгляд на красных пятнах на ее руках и шее для того, чтобы она поняла, что я их увидела.

– Не надо мне говорить о моей матери, – сказала я, – лучше вообще ничего не надо мне говорить. Я пойду. – Я поднялась. – Я вам что-нибудь должна?

– Нет. Ваша мать все оплатила.

Я открыла дверь, вышла и вызвала лифт, но повернулась, чтобы еще раз взглянуть на нее. Тут я поняла, что мне страшно. Страшно от того, что вдруг у нее нет диплома психолога или психоаналитика или что у нее мало практики. Бывает ли у психологов мало практики? «Я должна это сделать, – подумала я, – я бы не пришла, если бы мне это было безразлично». Психолог с извиняющимся выражением лица, во фланелевой юбке ниже колена и блузке с вышивкой. Волосы, как солома, свисают по щекам, казалось, что они отвалятся, если она шевельнется. Эта женщина нуждалась в большей помощи, чем моя мать.

– Говорите, она все оплатила?

– Да. Она хотела, чтобы я вам позвонила. Чтобы я вам все рассказала.

– А почему я должна хотеть это знать… знать то, о чем она мне никогда не говорит?

– Ей нужно вам это рассказать, чтобы вы все знали. Она говорит, что только так может вылечиться.

Что мама мне хотела рассказать? Она наконец вылечилась? Я снова открыла ящик: на коробочках с успокоительным стояло просроченное число – год смерти моего отца, – таблетки были не тронуты. Я захлопнула ящик.

Я отдернула занавеску и высунулась в окно. Улица была узкая, и, если хорошенъко присмотреться, я бы могла увидеть маму, скорее, ее голову в руках парикмахера Альдо. Волосы прямые и тяжелые, у меня такие же, своего настоящего цвета. Кроме всего прочего, я унаследовала от мамы что-то хорошее.

Соседки пытались делать такие же прически и подбирать краску для волос: каре пепельного цвета, спереди немножко приподнятое. Высота и стиль прически зависели от моды в рай-

оне. Мама перестала быть «женой доктора» и стала «вдовой доктора». Папа был адвокатом, но все его называли «доктором». Я тогда была «дочкой доктора», а сейчас я уже никто.

Я вспоминала кабинки, похожие на капсулы, которые превращали женщин в астронавтов, пока им делали маникюр. Альдо не желал снижать цены. Пока я два раза в год ходила стричься за пять песо в какую-нибудь парикмахерскую школу, мама платила тридцать каждую неделю, чтобы почувствовать себя сеньорой.

Может быть, она ходила в парикмахерскую не за этим, а чтобы почувствовать, как пальцы Альдо массируют ей кожу на голове. Сейчас я думала, что это больше похоже на проявление нежности. Мама откидывала голову назад и, когда он начинал промывать ей голову шампунем, выпускала журнал из рук и закрывала глаза. Тридцать песо – это умеренная цена за такие услуги.

– Привет, Викита!

Над верхней губой у мамы виднелись капельки пота, зубы были немного в помаде, и от нее пахло дезодорантом. «Викита» звучало так, будто она обращается к кому-то другому. Вики, Викита. Но меня зовут Виргиния, а не Виктория.

– Ты звонила Августину? У него все хорошо?

– Не накручивай себя.

Она положила сумочку на столик и включила телевизор.

– Как давно я не смотрела новости, – сказала я.

– Викита, ты будто в лесу живешь.

Она включила вентилятор, чтобы развеять запах еды. Свет, лившийся из окна, делал прозрачной ее одежду, а точнее, белую кофточку в фиолетовый горошек, которая выделяла ее живот и грудь. Она купила ее в одном из магазинов района, магазинов, которые обычно носят названия: «Гала», «Лувина», «Петуна». У нее до сих пор были красивые ноги. У меня не такие. Говорил ли ей когда-нибудь отец, что у нее красивые ноги?

В телевизоре парочка молодых ведущих, оба загорелые в солярии (это единственное, что отличало эти новости от тех, что я смотрела в детстве), поворачивали головы вправо и влево, как марионетки. Затем стали показывать какие-то слайды о войне.

Мама спустилась вниз и надела тапки из тюля нежно-голубого цвета с помпонами. Еще она надела повязку на голову, чтобы прическа не испортилась, и две бигуди на макушку, словно девочка, которая выходит из парикмахерской с желанием поиграть в парикмахерскую.

– Для Вики самый сочный кусок мяса, – сказала она Грасиэле, – и не добавляй в салат уксус, ей это не нравится.

– Уже нравится, мама.

Она меня не услышала; она никогда не принимала во внимание мои вкусы и их изменение.

– Как Диего?

– Хорошо.

Грасиэла принесла мясо, салат, бутылку воды, коробку вина и сифон. Интересно, Ивес до сих пор приходит забрать пустые сифоны и принести ящик с новыми? Он всегда старался зайти к служанкам. Он жених Грасиэлы?

Грасиэла единственная за обедом смотрела телевизор, она сидела за маленьким столиком около плиты, позади нас.

Я бы могла сказать: «Мама, я – проститутка». Мама бы не очень удивилась. Она бы посмотрела на меня, словно говоря: «Я это знала». Казалось, что она догадывается обо всем по той простой причине, что всегда думает все самое плохое. Смогла ли узнать та психолог, как в моей матери уживаются эти простодушие и цинизм?

Может быть, самым большим противоречием в моей жизни было то, что я могла обмануть кого угодно; я могла заставить всех поверить в то, что я такая, какой хочу казаться, а не

такая, как она. Но моя мама могла верить только в худшее. Она не всегда была такой, но с того момента, как я покинула этот дом, мама перестала признавать меня. Я могла сказать ей: «Я сижу на героине», «Я только что ограбила банк, и за мной гонится полиция» или «Я оставляю Диего и Августина и переезжаю жить в Колумбию». Маме ничего не стоило поверить в это.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочтите эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.